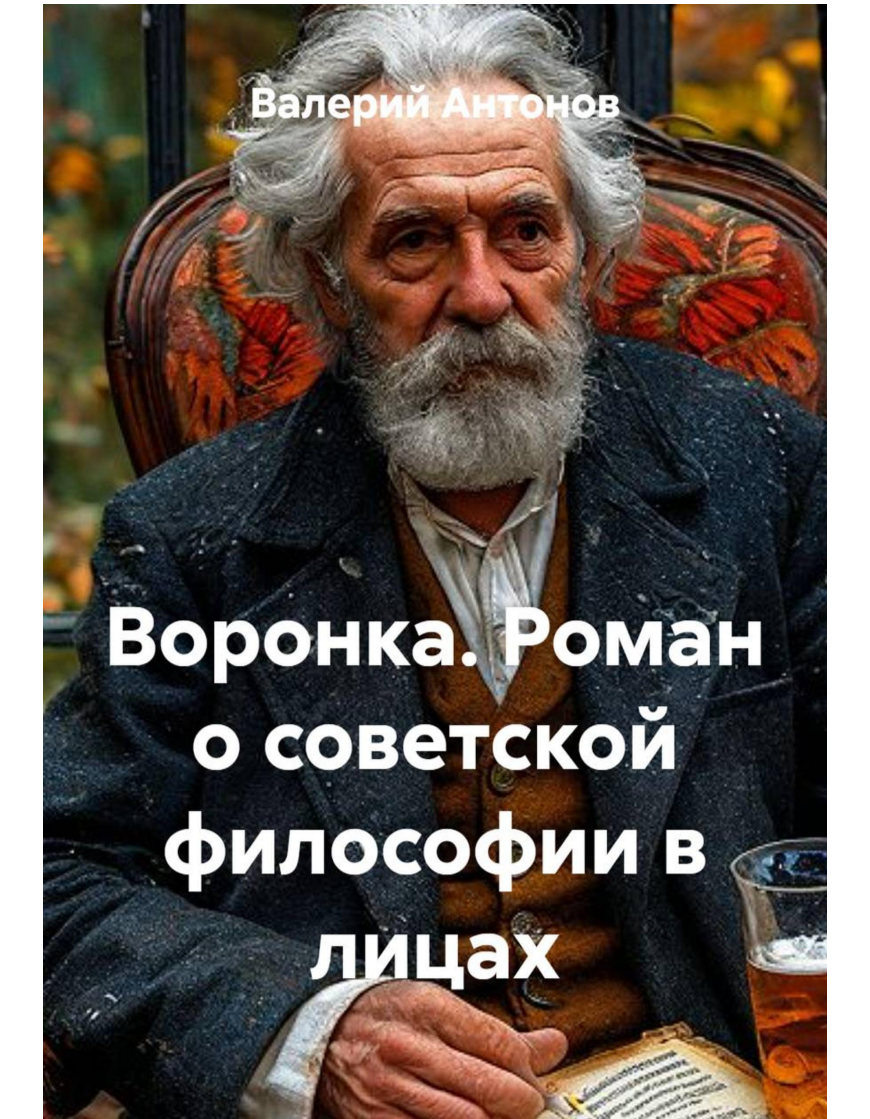


A portrait of an elderly man with a full white beard and hair, wearing a dark blue jacket over a brown vest and a white shirt. He is sitting in a wooden chair with a red and orange floral patterned backrest. He is holding a pen over an open book. A glass of beer is visible on the table to his right. The background is a blurred autumn scene with yellow and orange leaves.

Валерий Антонов

**Воронка. Роман
о советской
философии в
лицах**

Валерий Антонов

Воронка. Роман о советской философии в лицах

<https://litres.ru/74299442>

SelfPub; 2026

Аннотация

Старый философ-марксист сидит на даче с томиком Канта и бутылкой водки. Вся его жизнь прошла под знаком «единственно верного учения»: общага, ночной кружок, арест товарищей и донос, который он написал, спасая себя. Теперь его настигают видения — Кант, Фихте, Маркс приходят и требуют ответа. Почему живая диалектика стала мёртвой догмой? Как свобода превратилась в «осознанную необходимость»? Где в марксизме осталось место для живого «я»?

Путешествуя по памяти — от кёнигсбергской гостиной до свердловской кухни, от архивных дел расстрелянных философов до ночных скамеек академика Деборина, — герой пытается заново научиться мыслить. Не как функция класса. Как человек.

«Воронка» — роман о советской философии в лицах, о цене догмы, о страхе, который становится судьбой, и о мужестве думать самому. Кант, Гегель, Маркс, Ильенков, Мамардашвили, Бахтин, Лосев, Любутин, Пивоваров, Перцев — живые и мёртвые сходятся в споре, который не закончен до сих пор.

Содержание

Аннотация	4
Пролог	6
Глава 1. Дача	9
Глава 2. Что такое воронка	13
Глава 3. Жена	18
Глава 4. Кафедра и профессор	23
Глава 5. Общага	31
Глава 6. Кружок	37
Глава 7. Доцент	46
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Валерий Антонов

Воронка. Роман о советской философии в лицах

Аннотация

Старый философ-марксист сидит на даче с томиком Канта и бутылкой водки. Вся его жизнь прошла под знаком «единственно верного учения»: общага, ночной кружок, арест товарищей и донос, который он написал когда-то, спасая себя. Теперь, на покое, его настигают видения — Кант, Фихте, Маркс приходят к нему и требуют ответа. Почему живая диалектика превратилась в мёртвую догму? Как свобода стала «осознанной необходимостью»? Где в марксизме осталось место для живого «я»? Путешествуя по собственной памяти — от кёнигсбергской гостиной до свердловской кухни, от архивных дел расстрелянных философов до ночных скамеек, на которых прятался от ареста академик Деборин, — герой пытается заново научиться мыслить. Не как функция класса. Как человек.

«Воронка» — роман о советской философии в лицах, о

цене догмы и о мужестве думать самому.

Пролог

Посвящается Константину Николаевичу Любутину, Даниилу Валентиновичу Пивоварову, Александру Владимировичу Перцеву и всем, кто учил мыслить.

Он сидел на террасе и смотрел, как садится солнце над четырьмя сотками.

Собственно, никакой террасы не было — так, дощатый навес, пристроенный к летней кухне лет пятнадцать назад. Три доски заменены, одна подгнила, но рука не доходила. Под навесом — старый венский стул, скрипучий и расшатанный, и клеённый стол с отбитым краем. На столе — початая бутылка «Столичной», надкусанный малосольный огурец на блюде, раскрытый томик Канта и тетрадь в клеённой обложке с надписью «Для себя».

Это была его дача. Его четыре сотки. Его майские праздники.

Звали его Иван Сергеевич, но для студентов он был просто «марксист». Иван Сергеевич читал лекции по диалектическому материализму на философском факультете, писал статьи в журнал «Философские науки», а в свободное время копал картошку и думал. Думал он, впрочем, всегда — даже когда копал.

Сегодня он думал о том, что вся его жизнь была подчинена одной идее. Идее, которую он когда-то принял с пылом

юноши, прошедшего войну, — с пылом человека, который видел смерть и верил, что мир можно переделать. Идее, которая называлась «марксистская диалектика».

Когда-то она казалась ему оружием. Ключом ко всем замкам. Светом, который освещает всё.

Теперь, на старости лет, она казалась ему воронкой.

Он сам придумал этот образ — или услышал когда-то, уже не помнил. Всякая сильная теория — это воронка. Ты заливаешь в неё реальность — бесконечно сложную, текучую, нерасчленённую, — а на выходе получаешь тонкую струю. Чем теория сильнее, тем тоньше струя. Тем больше реальности она отсекает как несущественное. В этом её мощь. И в этом — её слепота.

Марксистская диалектика была самой сильной воронкой из всех, что он знал. Она перемалывала всё: историю, экономику, искусство, любовь, смерть. Всё сводилось к борьбе классов, к смене формаций, к единству и борьбе противоположностей. Всё становилось ясным, понятным, предсказуемым. И от этой ясности ему вдруг стало душно.

Что-то не помещалось в воронку. Что-то оставалось за её краями — и это «что-то» был он сам. Его жизнь. Его страх. Его память.

Он взял тетрадь, раскрыл её и начал читать. Это была не статья, не монография — просто записи, которые он вёл последние недели. Попытка понять: как он, человек, который хотел мыслить, стал частью машины, которая мышление

убивала?

Тетрадь начиналась издалека. С Кёнигсберга. С маленького сухого старика, который никогда не покидал своего города, но умом обнимал вселенную. С человека, который сказал: «Рассудок не черпает свои законы из природы, а предписывает их ей».

Иван Сергеевич усмехнулся. Кант. Вот с кого всё началось. Хотя началось, если честно, гораздо раньше. Ещё в общаге. Ещё в той комнате на Моховой, где семеро вчерашних солдат сидели при свете коптилки из снарядной гильзы и спорили о Гегеле.

Но это — потом. Сначала — Кант.

Он перевернул страницу и начал читать. А где-то вдалеке, за лесом, лаяла собака. И майский ветер шевелил прошлогоднюю листву под яблоней. И жизнь — простая, конечная, единственная — ждала его за порогом.

Глава 1. Дача

Майские праздники. Вечер. Марксист сидел на террасе дачного домика и смотрел, как садится солнце над четырьмя сотками. Собственно, никакой террасы не было — так, пристроенный к летней кухне дощатый навес, который он сам сколотил лет пятнадцать назад из горбыля, оставшегося от соседского забора. Три доски заменены за эти годы, одна подгнила снизу, но рука не доходила. Он сидел на старом венском стуле, скрипучем и расшатанном, и курил, хотя давно обещал жене бросить.

На клеёнчатом столе стояла початая бутылка «Столичной», лежал надкусанный малосольный огурец на блюде с отбитым краем и раскрытый томик Канта. Страницы были заложены сухим кленовым листом ещё с прошлой осени — он любил закладывать книги тем, что попадалось под руку: трамвайным билетом, обрывком газеты, сухим листом. Кант не возражал.

Он читал «Критику чистого разума» уже в третий раз за жизнь. Первый раз — ещё в аспирантуре, по программе, с карандашом, подчёркивая то, что требовалось для конспекта. Второй — в середине семидесятых, когда начал сомневаться в том, что учебник Розенталя объясняет всё. И вот теперь — третий. На пенсии, на даче, в майские праздники.

Он читал медленно, смакуя. Ему нравилось, что Кант не

торопится. Что он строит свои периоды, как осадные укрепления — одно кольцо за другим, не оставляя ни щели, через которую могла бы проскользнуть неточная мысль. Марксист читал и чувствовал странное, давно забытое ощущение: его мысль не идёт по проложенной колее, а пробирается целиной. Спотыкается. Возвращается.

— «Рассудок не черпает свои законы из природы, а предписывает их ей», — прочёл он вслух.

Он отложил книгу, отхлебнул из гранёной рюмки, занюхал рукавом — привычка, оставшаяся с общаги, с тех лет, когда они пили «пустой чай» и мечтали о настоящей философии. Огурец хрустнул на зубах.

— Предписывает, — повторил он. — Воронка.

Это слово он придумал не сам. Он услышал его когда-то от старого профессора-физика, с которым они случайно разговорились в поезде. Тот объяснял студентам устройство мира просто: «Понимаете, батенька, всякая теория — это воронка. Вы заливаете в неё реальность, а на выходе получаете тонкую струю. Чем теория сильнее, тем тоньше струя. Тем больше реальности она отсекает как несущественное. И в этом её сила — и её слепота».

Тогда марксист не придавал этим словам значения. Но теперь, на даче, с Кантом в одной руке и водкой в другой, он вдруг понял: марксистская диалектика — это воронка. Мощная, блестяще сконструированная, отлитая из стали и бетона. Она заливает в себя всю мировую историю, всё об-

щественное бытие, все противоречия — и на выходе даёт струю: «классовая борьба», «смена формаций», «диктатура пролетариата». Всё остальное — несущественно. Всё остальное — отсечено.

И он сам, Иван (назовём его так), марксист с тридцатилетним стажем, кандидат наук, доцент, автор трёх брошюр и сорока статей, — он сам был этой воронкой. Он сам отсекал. Он сам сужал реальность до струи, которую можно было предъявить на кафедре, на заседании, в журнале.

Но теперь, на даче, в тишине, перед раскрытым Кантом, он вдруг почувствовал: что-то не так. Что-то не помещается в воронку. Что-то остаётся за её краями — и это «что-то» есть он сам. Его жена, спящая в доме. Его прошлое. Его страх.

Он снова взял книгу. Но читать уже не мог. Буквы расплывались. Он откинулся на спинку стула, закрыл глаза и стал слушать.

В доме было тихо. Жена легла рано — завтра на огород. Где-то лаяла собака. Скрипел старый вяз у забора. Майский ветер шевелил прошлогоднюю листву под яблоней.

Он вдруг отчётливо, почти физически ощутил, что он — здесь. Сейчас. Что это его тело, его стул, его четыре сотки, его Кант на клеёнке. Что он — это он, а не функция от исторической необходимости, не орган класса, не носитель категорий. Просто — Иван. Сидит на даче. Пьёт водку. Думает.

И от этого простого, ясного чувства ему стало страшно.

Потому что вся его философия, весь его марксизм, все его тридцать лет на кафедре — всё это не знало такого «я». Оно было лишним. Оно не предусматривалось.

Он налил ещё рюмку. Выпил. И вдруг — то ли от водки, то ли от Канта, то ли от майской ночи — провалился в странное состояние. Не сон, не явь.

Ему показалось, что он сидит не на дачной террасе, а в другой комнате. Маленькой, скудно обставленной. Свинцовый переплёт окна. Зеленоватый свет. На столе — кофейник и одна фарфоровая чашка с трещиной. Напротив него сидит маленький, сухой старик с живыми, цепкими глазами и смотрит на него с мягкой, почти ласковой усмешкой.

Марксист хотел что-то сказать, но язык не слушался. А старик уже открыл рот — и заговорил. И от его голоса, тихого и вежливого, почему-то стало ещё страшнее.

— Вы раздражены, — сказал старик. — Вам кажется, что я отнимаю у вас реальность. Но постойте. Разве не вы утверждаете, что сознание определено бытием?..

Глава 2. Что такое воронка

Он не спал. Это он понял сразу, как только старик в чужой комнате заговорил с ним. Сон — он другой, вязкий, непослушный. А здесь всё было чётко, резко, даже слишком. Так бывает в бессонницу, когда лежишь без движения час, другой, третий, и вдруг сознание само начинает плести свои кружева — не сны, а видения, которые не отличить от яви.

Но сейчас он не лежал. Он сидел. И перед ним сидел Кант. Марксист потёр глаза. Видение не исчезло. Маленький старик в тёмно-коричневом сюртуке с протёртыми локтями, с белой шейной косынкой, повязанной небрежно, но чисто, смотрел на него и молчал. Молчание это было не враждебным, не выжидающим — оно было рабочим. Так молчит мастер, осматривая материал, из которого предстоит что-то сделать.

— Что вы видите? — спросил Кант.

Это было неожиданно. Марксист ждал чего угодно: опровержения, насмешки, поучения. Но вопрос был задан ему, и отвечать надо было ему.

— Я вижу вас, — сказал он.

— Нет, — мягко поправил Кант. — Вы видите явление. Фигуру в пространстве. Цвета, очертания. Всё это — синтез, произведённый вашим рассудком по правилам, которые вы не выбирали. Пространство, время, причинность — это не

свойства мои, а формы вашего восприятия. Я, каков я сам по себе, вам не дан и не могу быть дан. Вы имеете дело только с явлением.

Марксист хотел возразить — и осёкся. Всё, что он мог бы сказать, он уже говорил на лекциях двадцать лет подряд. «Диалектический материализм доказал...», «Практика — критерий истины...», «Сущность и явление не оторваны друг от друга...» Но здесь, перед этим стариком, слова вдруг потеряли вес. Они стали пустыми, как ореховые скорлупки.

— Я знаю, что вы думаете, — продолжал Кант. — Вы думаете, что я остановился на полдороге. Что я оставил «вещь в себе» как уступку фидеизму. Что материализм пошёл дальше и доказал познаваемость мира. Но вы не поняли главного.

Он взял со стола кофейник — медный, начищенный до блеска — и налил себе кофе. Движения его были медленны и точны. Ни одного лишнего жеста.

— Представьте себе воронку, — сказал Кант. — У вас есть это слово. Широкий раструб, в который вливается поток ощущений — хаотический, бесконечно разнообразный. А на выходе — тонкая струя: упорядоченный мир явлений, подчинённый законам. Что делает эту работу? Рассудок. Мой рассудок, ваш, всякий конечный разум, устроенный так, а не иначе. Он пропускает сырой материал через свои формы — пространство, время, двенадцать категорий, — и только тогда, только в этой обработке, рождается то, что мы называем опытом, природой, объективной реальностью.

Кант сделал глоток.

— Вы, марксисты, называете это «отражением». Вы говорите: материя отражается в сознании. Но это метафора, причём плохая. Отражение предполагает зеркало. А где у зеркала собственная активность? Где синтез? Где работа рассудка, без которой нет никакого «мира» как целого? Вы пропустили#### — и построили философию, которая воображает, что может видеть вещи сами по себе, без познающего.

Марксист молчал. В горле пересохло. Он вдруг отчётливо, почти до головокружения, понял, о чём говорит старик. Вся марксистская гносеология — отражение, практика, критерий истины — это была попытка перепрыгнуть через воронку, сделать вид, что её нет. Что мир дан нам непосредственно. Что законы диалектики — это законы самого бытия, а не формы, в которых мы это бытие схватываем.

— Но практика... — начал он.

— Практика, — перебил Кант, — это тоже опыт. Она дана вам через те же формы. Когда вы из каменноугольной смолы получаете ализарин, вы не проникаете в «вещь в себе». Вы заставляете природу отвечать на ваши вопросы. Но вопросы-то заданы вами. На вашем языке. В ваших категориях. Природа отвечает — да. Но она отвечает на ваш запрос, а не раскрывает свою «самость». Вы путаете успех с истиной.

Кант отставил чашку и посмотрел на марксиста долгим, спокойным взглядом.

— Я не отнимаю у вас реальность. Я лишь указываю на

условия, при которых она становится для вас предметом. Эти условия — не исторические, как у вас пишут в учебниках. Не классовые, не экономические. Они трансцендентальные. Они даны всякому конечному разуму. Вы не можете мыслить иначе. Это не слабость. Это устройство.

— Значит, мы никогда не познаем мир таким, какой он есть? — спросил марксист. Голос его прозвучал глухо.

— Вы познаете его таким, каким он является существу, устроенному как вы. Это немало. Это — вся наука. Но не принимайте науку за самую реальность. Не принимайте воронку за воду.

Кант замолчал. За окном — марксист вдруг это заметил — кричали чайки. Где-то далеко, словно с другого края земли. Кёнигсберг. Он был в Кёнигсберге.

— Вы хотите что-то спросить, — сказал Кант. — Я вижу. Марксист кивнул. Он хотел спросить не о воронке, не об ализарине, не о категориях. Он хотел спросить о себе. О том, как жить, когда понял, что вся твоя философия — это тонкая струя, а мир не влезает в неё. Но он не знал, как сформулировать.

— Я думал, что истина — это оружие, — сказал он наконец. — Что мы боремся за неё. Что она освобождает.

— Истина не освобождает, — сказал Кант тихо. — Освобождает только мужество пользоваться собственным рассудком. Я написал это давно. Но вы, кажется, не читали. Или читали не то.

Он встал — маленький, сухой, — и подошёл к книжному шкафу.

— Я дам вам кое-что, — сказал он, доставая тонкую брошюру. — Это Фихте. Мой ученик. Он попробовал сделать то, чего вы, кажется, хотите: убрать воронку совсем. Объявить, что «я» само порождает мир, без всякой «вещи в себе». Это смело. И опасно. Прочтите. А потом возвращайтесь.

Он протянул брошюру. Марксист взял её. Обложка была шершавой, чуть влажной — не то от кёнигсбергской сырости, не то от его собственных пальцев.

— Идите, — сказал Кант. — Вам ещё к Фихте.

Марксист хотел спросить «куда?», но комната уже таяла. Чайки кричали всё тише, всё дальше. Запах воска и кофе растворился в майском воздухе, и он вдруг почувствовал, что сидит на своём скрипучем венском стуле, на своей террасе, и над четырьмя сотками встаёт луна.

На столе лежала брошюра. «О понятии наукоучения». Иоганн Готлиб Фихте.

Он не помнил, как она здесь оказалась. Но она была. Реальная. Шершавая. Чужая.

Глава 3. Жена

Брошюра лежала на столе. Он не прикасался к ней. Луна поднялась над старой яблоней, залила участок холодным, зеленоватым светом, и в этом свете обложка казалась влажной — не то от росы, не то от кёнигсбергской сырости, которую он, кажется, всё ещё чувствовал кожей.

«О понятии наукоучения». Иоганн Готлиб Фихте.

Он смотрел на неё и боялся. Боялся, что если откроет — Кант исчезнет окончательно, станет просто сном, водочным мороком, галлюцинацией уставшего мозга. А если не откроет — останется навсегда здесь, на даче, с четырьмя сотками, с огурцами, с лекциями, которые он читает уже тридцать лет и которые давно выучил наизусть, как таблицу умножения.

Он не знал, что страшнее.

В доме скрипнула половица. Он вздрогнул, обернулся. В дверях стояла жена.

Она была в старой байковой рубаше, которую он помнил ещё с тех лет, когда они только поженились. Рубаша выцвела, протёрлась на локтях, но она всё равно носила её — «для дачи», говорила, «жалко выбросить». Волосы, заплетённые в жиденькую косу, выбились из-под ситцевого платка. Она шурилась со сна, одной рукой придерживаясь за косяк.

— Ты что не спишь? — спросила она. — Третий час.

Он не ответил. Она подошла ближе, посмотрела на стол:

початая бутылка, огрызок огурца, раскрытый Кант, брошюра.

— Опять читаешь? — в её голосе не было ни осуждения, ни тревоги. Только усталость. Та особая усталость женщины, которая тридцать лет живёт с философом и давно перестала ждать, что он скажет что-то простое и понятное.

— Читаю, — сказал он.

— А это что? — она кивнула на брошюру.

— Фихте.

— Кто?

— Был такой. После Канта. Хотел переделать всё.

Она вздохнула, села на соседний стул — скрипучий, расшатанный, с наклеенной изолентой на ножке. Посмотрела на него. Он смотрел в стол.

— Ваня, — сказала она тихо. — Что с тобой?

Он молчал. Не потому, что не хотел отвечать. А потому, что не знал, как. Как объяснить женщине, которая стирает твои рубашки, варит тебе борщ и помнит, какие таблетки ты должен пить от давления, — как объяснить ей, что ты вдруг перестал понимать, кто ты? Что вся твоя жизнь, твоя философия, твоя кафедра, твои статьи — всё это, может быть, было огромной ошибкой? Что ты сидишь на даче и разговариваешь с мёртвым немцем, и мёртвый немец говорит тебе то, чего ты не слышал от живых?

— Я не знаю, — сказал он. — Я запутался.

Она не ответила. Просто сидела рядом, сложив руки на

коленях. Он вдруг заметил, какие у неё руки — натруженные, с выступающими венами, с тёмными пятнышками огородной земли, которую не отмыть до конца, как ни три. Она никогда не жаловалась. Никогда не говорила: «Зачем ты меня сюда привёз? Зачем эти четыре сотки? Зачем эта картошка, которую мы едим круглый год?» Она просто делала. Сажала, полола, копала, консервировала. А он — он всё это время жил в своей голове, в своей воронке, и думал, что это и есть настоящая жизнь.

— Помнишь общагу? — спросил он вдруг.

— Помню, — сказала она.

— Ты помнишь Доцента?

Она помедлила.

— Помню, — сказала она. — Ты никогда о нём не говоришь.

— Я написал на него, — сказал он. — Не на него лично, но на кружок. На всех. Я написал донос, и их взяли. А меня не взяли.

Она не ахнула, не всплеснула руками. Она просто сидела и смотрела на него. И в этом взгляде не было ни ужаса, ни отвращения. Только тихое, ровное понимание.

— Я знаю, — сказала она.

Он поднял глаза.

— Откуда?

— Я не знала точно. Но я догадывалась. Ты думаешь, я не видела? Ты думаешь, я не помню, как ты вернулся той

ночью? Как ты молчал неделю? Как ты кричал во сне?

Он смотрел на неё. Она была здесь, рядом, на этом скрипучем стуле, в этой старой рубашке, с этими натруженными руками. И она знала. Всё это время знала.

— Почему ты не ушла? — спросил он.

— Куда? — она пожала плечами. — Ты мой муж. Мы живём вместе тридцать лет. У нас дети. У нас внук. Куда мне уходить?

Он хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. Она встала, подошла к нему, положила руку на плечо. Рука была тёплой, тяжёлой, настоящей.

— Ты философ, — сказала она. — Ты всю жизнь искал истину. Может быть, ты её уже нашёл. Может быть, она не там, где ты искал.

— А где?

Она не ответила. Просто постояла рядом, потом наклонилась и поцеловала его в макушку — туда, где уже пробилась седина.

— Иди спать, — сказала она. — Завтра грядки. И не пей больше.

Она ушла. Половица скрипнула ещё раз. Хлопнула дверь в дом.

Он остался один. Луна переползла через яблоню и теперь висела прямо над трубой соседской бани. Где-то далеко, за лесом, начинало светлеть.

Он взял брошюру. Открыл первую страницу.

«Я полагаю самого себя», — прочёл он.

И вдруг — не умом, а всем телом, всей кожей, всей своей уставшей, износившейся душой — понял, что это значит. Не «я» как функция. Не «я» как продукт истории, класса, экономики. А «я» — как первый акт. Как начало. Как то, без чего ничего нет.

Он закрыл глаза. И на этот раз — действительно заснул. Без снов. Без немцев. Без страха.

Просто спал. Рядом дышала жена. За окном поднималось майское солнце.

Глава 4. Кафедра и профессор

Понедельник. Кафедра философии. Марксист пришёл за час до лекции — проверять курсовые. В коридоре пахло, как всегда: мелом, старой бумагой, табачным дымом и ещё чем-то неуловимым, что он про себя называл «запахом времени». Может быть, так пахла пыль, оседавшая на книги десятилетиями. Может быть — сами книги.

Он шёл по коридору и вдруг остановился у окна. За окном был тот же город, что и тридцать лет назад, и не тот. Хрущёвки облупились. Ленин на площади всё ещё простирали руку в будущее, но будущее уже наступило — и оказалось совсем не таким, как обещали.

— Иван Сергеевич!

Он обернулся. Из-за поворота коридора, тяжело ступая, шёл профессор. Тот самый, у которого он учился, у которого писал диссертацию. Грузный, седой, в старом пиджаке с пятном на лацкане — говорили, он пролил суп в столовой ещё при Брежневе и с тех пор не сдавал пиджак в чистку, то ли из суеверия, то ли из экономии.

— Здравствуйте, — сказал марксист.

— Здравствуй, здравствуй, — профессор приблизился, и марксист уловил знакомый запах: «Беломор», валерьянка, старческая кожа. — Ты чего в понедельник такой мрачный? Давление?

— Нормальное.

— Ну, тогда зайди. Поговорим.

Они прошли в кабинет. Здесь всё было по-старому: книжные шкафы до потолка, синие тома «Капитала», зелёные — Розенталя, коричневые — Руткевича. На подоконнике — засохший фикус, который никто не поливал уже лет десять, но он всё не умирал. На стене — портрет Маркса в тяжёлой дубовой раме и отрывной календарь, застывший на 1983 годе.

Профессор сел в своё кресло, кряхтя и держась за поясницу.

— Ну, рассказывай, — сказал он. — Что у тебя стряслось?

— С чего вы взяли?

— Я тебя сорок лет знаю. Ты ходишь, как в воду опущенный. На тебе лица нет. — Он полез в карман за папиросой.

— Куришь?

— Бросил.

— А я нет. — Он закурил, выпустил дым в потолок. — Ну?

Марксист помолчал. Потом сказал:

— Я тут Канта перечитывал. И Фихте.

— Фихте? — профессор поднял бровь. — Фихте — это субъективный идеалист. Солипсизм на марше. «Я» у него — абсолют. Ты что, диссертацию переписывать собрался?

— Нет. Просто... — марксист замялся. — Мне показалось, что у него есть что-то важное. Ну, это самое... что человек — не винтик. Что его «я» — не функция. Что он сам

полагает себе преграду, чтобы преодолевать её и становиться сильнее.

Профессор отложил папиросу и посмотрел на марксиста долгим, изучающим взглядом. В глазах его мелькнуло что-то — не осуждение, не тревога, а нечто вроде узнавания.

— Знаешь, — сказал он медленно, — я тебе сейчас одну вещь скажу. Только ты не обижайся.

— Не обижусь.

— Я ведь, когда молодым был, тоже Фихте читал. Не по программе — для себя. И знаешь что? Я его полюбил. Вот честно тебе скажу: полюбил этого безумного немца. Он так страстно писал! Так верил в человека! В свободу! Я тогда думал: вот оно. Вот настоящая философия. Не эти наши учебники с законами и категориями, а живая мысль.

Марксист замер. Профессор, не замечая его реакции, продолжал:

— Но потом пришёл научный руководитель — старик ещё дореволюционной школы, царствие ему небесное — и говорит: «Ты, голубчик, Фихте брось. Это к добру не приведёт. Хочешь заниматься идеализмом — иди в Гегеля, там хоть диалектика есть. А от Фихте один шаг до...» — он осёкся. — Ну, ты понимаешь.

Профессор затянулся и выдохнул дым в потолок.

— Я тогда испугался. Сейчас вот думаю: может, зря испугался? Может, надо было настаивать? Но ты знаешь, как у нас было: шаг в сторону — и всё, неблагонадёжность, дисси-

дентство. А у меня семья. Дети. Я и спрятался. В Руткевича. В диамат. В надёжное. И знаешь, что самое страшное? Я сам поверил, что так и надо. Что Фихте — это пройденный этап. Что «я» — это мелкобуржуазная иллюзия. Что главное — масса, класс, закон.

Он замолчал. Где-то в коридоре прозвенел звонок — начиналась первая пара.

— А теперь ты приходишь и спрашиваешь меня о Фихте. — Он покачал головой. — Ты хочешь, чтобы я тебе сказал то, чего я сам себе не сказал сорок лет назад?

В кабинете повисла тишина. Марксист смотрел на старого учителя. Тот сидел, сгорбившись, и впервые казался не монументом, а просто старым, уставшим человеком, который когда-то испугался собственной мысли.

— Я не знаю, — сказал марксист. — Я сам не знаю, чего хочу. Просто... я не могу больше думать, как раньше.

Профессор поднял на него глаза.

— Ну, — сказал он тихо, — тогда ты уже знаешь больше, чем я.

И вдруг — резко, словно вспомнив что-то — он выпрямился.

— Ты про Деборина знаешь?

— Знаю.

— А про Карева?

— Знаю. Читал дело.

Профессор кивнул. Потом сказал:

— Я тебе говорил про Константинова. Фёдора Васильевича. Ты по его учебнику исторический материализм сдавал. Все мы по нему сдавали.

Марксист кивнул. «Исторический материализм» под редакцией Константинова — синяя обложка, жёсткий переплёт. Настольная книга всех аспирантов-философов.

— А ты знаешь, — профессор понизил голос, хотя в кабинете никого, кроме них, не было, — что Константинов был учеником Деборина? Да-да. Молодой, талантливый, горячий. Он в двадцатые годы ходил на семинары к Абраму Моисеевичу. В Институте красной профессуры. Вместе с Каревым, вместе со Стэнном, со Степаняном, с Иовчуком... Целая плеяда. Они все тогда были диалектиками. Живыми. Душающими.

Он закурил новую папиросу.

— А потом пришёл тридцать первый год. Письмо Сталина в «Под знаменем марксизма». Деборина объявили «меньшинствующим идеалистом». Карева — врагом народа. Ты знаешь, что Карева расстреляли в тридцать шестом?

— Знаю, — тихо сказал марксист.

Профессор вскинул бровь, но ничего не спросил. Только кивнул.

— А Константинов... Константинов выжил. Он был на том самом заседании, где громили его учителя. И он не вступился. Никто не вступился. Они сидели в президиуме и молчали. А потом голосовали «за». А потом писали покаянные

статьи, отрекались от Деборина, каялись в «идеалистических ошибках». И знаешь, что самое страшное? Они не были циниками. Не все. Многие искренне верили, что так надо. Что партия лучше знает. Что личная совесть — это мелкобуржуазный предрассудок. Что важнее — дело. Дело, понимаешь?

Он горько усмехнулся.

— Дело. Они построили философский факультет МГУ. Они написали учебники. Они воспитали тысячи аспирантов, включая меня. Константинов стал академиком, главным редактором «Философской энциклопедии», лауреатом, орденосцем. Он пережил Сталина, пережил Хрущёва, пережил Брежнева. Он умер в восемьдесят девятом. Всю жизнь на коне. А Деборин ночевал на скамейке в Александровском саду, потому что боялся, что за ним придут ночью.

Марксист смотрел на профессора. Тот не казался пьяным — откуда, понедельник, десять утра, — но говорил так, словно выплёскивал то, что копилось десятилетиями.

— Я не сужу их, — сказал профессор. — Я сам испугался. Я сам спрятался. Но ты... — он ткнул папиросой в сторону марксиста, — ты зачем-то полез в этот архив. Ты зачем-то спросил о Фихте. Значит, ты ещё не всё в себе задушил. Так слушай: всё, что ты читал в учебниках, — всё это написано людьми, которые когда-то знали правду. Но испугались. И страх стал их второй натурой. А потом — их философией.

Он затушил папиросу в пепельнице.

— Ты сейчас стоишь на том же перекрёстке, что и они.

Что и я. Только у тебя есть то, чего у нас не было.

— Что? — спросил марксист.

— Ты уже знаешь. Ты видел Канта, ты говорил с Фихте, ты держал в руках дело Карева. Ты не можешь сказать, что не знал. А мы — мы могли. Мы уговаривали себя, что партии виднее. Что диамат и есть истина. Что Деборин сам виноват. Мы выстроили целую философию, чтобы оправдать собственную трусость. А у тебя этого оправдания больше нет.

Профессор встал, подошёл к окну. За окном шёл дождь — мелкий, майский, бессмысленный.

— Я тебе ещё про Константинова скажу, — сказал он, не оборачиваясь. — Я его видел однажды. На заседании. Кто-то из молодых — уже после войны — предложил переиздать Деборина. Ну, из тех старых работ. И знаешь, что Константинов ответил?

— Что?

— «Нецелесообразно». Одно слово. Он даже не объяснил. Просто — нецелесообразно. И я смотрел на него и думал: вот человек, который когда-то сидел у ног Деборина, который называл его учителем, который плакал, говорят, когда начиналась травля. А теперь он сидит в президиуме и цедит: «нецелесообразно». И знаешь, что самое страшное? Он не врал. Он действительно так думал. Он убедил себя. Он стал другим человеком.

Профессор повернулся.

— Ты хочешь стать другим человеком?

Марксист молчал.

— То-то, — сказал профессор. — Так что иди. И думай. Думай сам. И Фихте... не бросай, что ли.

Марксист поднялся, взял портфель. В дверях он обернулся.

— Спасибо, — сказал он.

Профессор махнул рукой и отвернулся к окну. Дождь всё шёл.

Глава 5. Общага

После разговора с профессором марксист не пошёл на лекцию. Сказался больным, отдал курсовые лаборантке и вышел на улицу.

Дождь кончился. Москва дышала маем: тополиный пух, бензин, нагретый асфальт. Он пошёл пешком, сам не зная куда, и вдруг поймал себя на том, что идёт к старому зданию на Моховой. Там, в полуподвале, когда-то была студенческая столовая. Там, на третьем этаже, — аудитория, где он слушал первые лекции. Там, в крыле общежития, прошли три года его юности.

Ноги сами несли его туда. Он не сопротивлялся.

Общага стояла на прежнем месте — кирпичная, облупленная, с теми же водосточными трубами, что гремели под ветром сорок лет назад. Он вошёл. Вахтёрша — не та, конечно, другая, но такая же, в сером платке и вязаной кофте — даже не спросила пропуск. Старый человек с портфелем не вызывал подозрений.

Лестница. Перила, стёртые тысячами ладоней. Запах — тот самый, неизменный: щи, хлорка, мокрое сукно, дешёвый табак. Он поднялся на четвёртый этаж, остановился у двери с номером, который помнил всю жизнь.

Дверь была приоткрыта. Он толкнул её и вошёл.

В комнате ничего не изменилось. Двенадцать метров, вы-

тянутых, как пенал. Восемь коек, одна пустая. Стол, собранный из досок. Печурка в углу. На стене — портрет Сталина, вырезанный из «Огонька» и приколотый хлебным мякишем. Рядом — карта боевых действий с красными флажками на Берлине.

И за столом сидели они.

Женя Гуревич, Доцент, поднял голову и посмотрел на вошедшего. Он был молодой — двадцать пять, не больше. Орден Красной Звезды на гимнастёрке. Глаза цепкие, живые, с тем особым блеском, какой бывает у людей, прошедших фронт и не разучившихся думать.

— А, Ванька, — сказал Доцент. — Заходи. Мы как раз про Гегеля.

Марксист стоял в дверях, не в силах двинуться. Он видел их всех.

Вот Лёнька Стрельцов, бывший танкист. Широкоплечий, с тяжёлыми руками, которыми он привык ворочать рычаги. Гимнастёрка с заштопанными локтями. Он сидел, подперев кулаком подбородок, и слушал Доцента с тем напряжённым вниманием, с каким слушают важное и не до конца понятное.

Вот Костя Воронов, сибиряк. Молчаливый, скуластый, курит самокрутку и смотрит в стол. Если скажет слово — то в самую точку.

Вот Серёжа Никифоров, филолог. Самый молодой, ещё без орденов — не успел повоевать, пришёл в сорок пя-

том, когда всё уже кончилось. Сидит с томиком Энгельса на немецком и беззвучно шевелит губами — переводит.

Вот Пашка Логинов, который не доехал до начала семестра, задержался на посевной. Его койка пустует.

А в углу, у печурки, сидит двадцатилетний Иван — он сам. В той же гимнастёрке, что сейчас кажется музейным экспонатом, а тогда была единственной одеждой. С тем же ёжиком волос, с теми же худыми руками, которые ещё помнили винтовку. Смотрит на Доцента и верит. Верит так, как сейчас уже не верит ни во что.

— Садись, Вань, — повторил Доцент. — Чего стоишь?

Он сел. На край койки, как тогда. Доска скрипнула знакомо, родным скрипом.

— Мы про Гегеля, — продолжал Доцент. — Он говорит: противоречие — корень всякого движения. Понимаете? Не помеха, не ошибка — корень. Сама жизнь есть противоречие. А наше дело — понять это и действовать.

— Как действовать? — спросил Лёнька.

— По-марксистски. Не примиряться с противоречием, а доводить его до конца. Капитализм сам создаёт своего могильщика. Понимаете? Не мы его свергнем — он сам рухнет под тяжестью собственных противоречий. А мы — мы только поможем.

— А если не рухнет? — спросил Костя Воронов, не поднимая глаз.

Доцент усмехнулся.

— Рухнет. Обязательно рухнет. Такова логика истории.

— Логика истории, — повторил Костя. — А мы — винтики?

— Мы — сознательные винтики, — засмеялся Доцент. — В этом вся разница. Буржуазия — слепая. Она не понимает, куда идёт. А мы понимаем. Мы — глаза и уши истории.

— То есть свобода — это осознанная необходимость? — спросил Серёжа, отрываясь от Энгельса.

— Именно! Энгельс это ещё в «Анти-Дюринге» написал. Свобода не в том, чтобы делать что хочешь, а в том, чтобы понимать законы и действовать в соответствии с ними. Плыть по течению — но знать, куда это течение вынесет.

Марксист — тот, старый, что сидел на краю койки и смотрел на них, — вдруг почувствовал, как внутри поднимается волна. Не ностальгия — другое. Узнавание. Вот оно, вот где это началось. Вот где ему впервые показали воронку и сказали: это и есть свобода.

«Сознательный винтик». «Глаза и уши истории». «Свобода — осознанная необходимость».

Всё это он потом повторял студентам. Всё это он писал в статьях. Всё это было его философией. Его верой. Его клеткой.

А теперь он сидел здесь, старый, уставший, и смотрел на того, молодого, который верил. И хотел крикнуть: «Не верь! Не слушай! Свобода — не в том, чтобы плыть по течению, даже зная, куда оно вынесет! Свобода — в том, чтобы само-

му быть течением! Чтобы самому полагать! Фихте был прав — прав! А не Энгельс!»

Но он молчал. Потому что знал: тот, молодой, ещё не готов. Ему ещё предстоит пройти через донос, через страх, через тридцать лет лжи. Через Кёнигсберг и Берлин. Через архив с делом Карева. Через скамейку в Александровском саду, на которой сидел Деборин.

Ему ещё предстоит проснуться на даче и понять, что он ничего не знает.

— Вань, — позвал Доцент, — ты чего молчишь? Ты же, помню, на прошлой неделе про Фейербаха говорил. Что-то там про человека, который не *abstraktum*, а живой...

— Это Маркс, — тихо сказал старый марксист. — «Тезисы о Фейербахе». Шестой тезис. «Человек — не абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности он есть совокупность общественных отношений».

— Ну! — Доцент хлопнул ладонью по столу. — Слышали? Вот что значит марксистская школа!

Молодой Ванька поднял голову и посмотрел на старого. Их глаза встретились — и старый вдруг понял: он увидел. Увидел и узнал.

— «Совокупность общественных отношений», — повторил молодой Ванька. — А где в этом я?

В комнате стало тихо. Доцент нахмурился.

— Что значит «я»?

— Ну, я. Вот этот. Который сейчас сидит здесь. Который

думает. Который чувствует. Я — это только совокупность? Или есть что-то ещё?

— Субъективный идеализм, — сказал Доцент, но уже без прежней уверенности. — Ты это брось. Маркс это раскритиковал.

— Маркс раскритиковал Фейербаха, — тихо сказал старый марксист. — Но не Фихте.

Доцент перевёл взгляд на него.

— Ты кто? — спросил он вдруг.

Старый марксист встал.

— Никто, — сказал он. — Просто мимо проходил. Не обращайтесь внимания.

И вышел за дверь.

В коридоре было тихо. Пахло хлоркой. Он прислонился спиной к стене и закрыл глаза.

Когда он открыл их снова, общаги не было. Был вечер. Улица. Тополиный пух летел над Моховой, как снег. Он стоял, держась за перила крыльца, и чувствовал, как колотится сердце.

Вся его жизнь была там — в той комнате. Вся его вера. Всё его предательство. И тот вопрос, который он задал тогда — «а где в этом я?» — так и остался без ответа. На сорок лет.

Он медленно пошёл к метро. Завтра ему предстояло снова быть марксистом. Читать лекции. Отвечать на вопросы.

Но сегодня — только сегодня — он был тем Ванькой, который спросил: «А где в этом я?» И не получил ответа.

Глава 6. Кружок

Они собирались по вторникам.

Вторник был выбран не случайно. По вторникам у Доцента заканчивались пары раньше, у Лёньки Стрельцова — позже, но он всё равно успевал. По вторникам комендант общежития уходил в ночную смену, и можно было не бояться, что кто-то постучит в дверь и потребует прекратить «несанкционированное собрание». По вторникам, наконец, у Серёжи Никифорова была немецкая группа в институте, и он приходил заряженный языком — цитировал Гегеля в оригинале, а потом переводил для остальных.

В тот вторник, о котором пойдёт речь, они собрались позже обычного. Лёнька прибежал мокрый — на улице лил дождь — и прямо с порога выпалил:

— Я сегодня на лекции спор затеял. С профессором.

— С каким? — спросил Доцент, не поднимая головы от книги.

— С Тихомировым. По историческому материализму.

— Ну и дурак, — спокойно сказал Костя Воронов, не вынимая самокрутку изо рта. — Тихомиров — сталинист. Теперь тебя запомнят.

— А я не боюсь! — Лёнька стянул мокрую гимнастёрку и повесил на спинку стула. От ткани пошёл пар — в комнате было натоплено, но от стен всё равно тянуло сыростью,

вечной плесенью старых кирпичных стен. Он потянул носом и поморщился: к запаху мокрой штукатурки примешивался кислый дух нестираных портянок из угла — Костя сушил их на батарее, не слушая ворчания остальных. — Он сказал, что диалектика — это наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. А я сказал, что это не наука, а метод. Он аж побагровел.

— Ну и дурак, — повторил Костя. Он снова затянулся са-мокруткой — бумага была тонкая, трофейная, довоенная ещё, горела быстро, сыпала пеплом на колени. Костя смахнул пепел на пол, даже не глядя. — Зачем тебе эти неприятности?

— Потому что это правда! — Лёнька сел к столу, налил себе кипятку из жестяного чайника, бросил в кружку щепотку заварки — вскладчину покупали, на всех не хватало. Чайник был мятный — Лёнька ещё в прошлом месяце уронил его с подоконника, и теперь он кособоко стоял на конфорке, но никто не удосужился починить. — Если диалектика — наука, то у неё должен быть предмет. Какой? «Наиболее общие законы»? А что это такое? Где они? Как их проверить?

— Практикой, — сказал Серёжа, не поднимая глаз от книги.

— Ага! — подхватил Лёнька. — А как ты проверишь практикой «закон единства и борьбы противоположностей»? Поставь эксперимент! Докажи, что он работает во всех случаях без исключения! Не можешь? Значит, это не наука. Это

— философский принцип. Метод. Способ мышления.

Доцент отложил книгу и поднял глаза.

— А знаешь, Стрельцов, — сказал он медленно, — ты сейчас повторил то, что Деборин говорил ещё в двадцатых. До того, как его объявили «меньшинствующим идеалистом».

За столом повисла тишина. Имя «Деборин» в этих стенах звучало редко. Его знали — но как-то смутно, краем уха, как знают о дальнем родственнике, о котором в семье не принято говорить.

— Деборин? — переспросил Серёжа. — Это тот, который с механистами спорил?

— Тот самый, — кивнул Доцент. — Абрам Моисеевич Деборин. Ученик Плеханова. Главный философ страны в двадцатых. Он отстаивал диалектику как метод. Говорил: нельзя сводить всё к механике, к физике, к химии. Есть качественные скачки. Есть противоречия, которые не сводятся к сумме противоположных сил. Есть диалектическая логика — не формальная.

— И что с ним стало? — спросил Лёнька.

— Сталин написал письмо, — Доцент усмехнулся. — Одно письмо. В журнал «Под знаменем марксизма». И всё. Деборин — «меньшинствующий идеалист». Его ученики — враги народа. Карева расстреляли. Сам Деборин выжил чудом. Говорят, ночевал на скамейках в парке, боялся, что за ним придут.

— А что такое «меньшинствующий идеалист»? — спро-

сил Ванька.

Он сидел в углу, как всегда — молча, слушал. Но сейчас не выдержал. *Под ним скрипнула панцирная сетка кровати — протяжно, жалобно, как живая. Он переменял позу, но пружина только заскрипела громче. Костя покосился на него и хмыкнул.*

— Это такая хитрая формула, — ответил Доцент. — Меньшевики были в партии — помнишь? «Меньшинство». Тех, кто проиграл, объявили врагами. А «меньшинствующий идеалист» — значит, почти меньшевик, почти враг, почти предатель. Но не совсем. Оставили лазейку — вдруг пригодится.

— И он пригодился?

— Пригодился. Его не расстреляли. Но философию убили. Вместо живой диалектики сделали «три закона» — и в учебник. Как таблицу умножения. Чтобы любой студент мог вызубрить и не думать.

Лёнька тем временем развернул на столе газету «Правда» за прошлую неделю. Газета была мятая, но чистая — он специально берёг её для такого случая. Из тощего холщового мешочка, который висел тут же на гвоздике в стене, он извлёк селёдку — блестящую, жирную, с тёмной спинкой. Аргумент, полученный вчера по карточкам в счёт стипендии.

— Ты опять? — поморщился Костя, но беззлобно.

— А что? — Лёнька уже орудовал ножом, ловко отде-

для кости от мякоти. — Философия философией, а жрать охота. У нас, между прочим, «бытие определяет сознание». Вот моё бытие требует селёдки.

— Это вульгарный материализм, — заметил Серёжа, на секунду оторвавшись от книги. — Маркс такое не одобрил бы.

— Маркс в Лондоне небось не такую селёдку ел, — парировал Лёнька и сунул в рот влажный, пахнувший рассолом кусок.

Запах поплыл по комнате, перебивая на мгновение и табак, и сырость. Даже Доцент невольно покосился на газету, но ничего не сказал — только уголок рта дрогнул.

Доцент помолчал, потом добавил:

— Вот ты, Стрельцов, сейчас споришь с Тихомировым. А Тихомиров — он не дурак. Он просто знает, что бывает с теми, кто слишком умный.

— И что? — Лёнька сжал кулаки. *Левой рукой он всё ещё держал нож, и Ванька заметил, как блестит на лезвии селёдочный жир.* — Молчать?

— Нет, — Доцент покачал головой. — Не молчать. Но думать — с кем, где и когда.

Он встал, подошёл к окну, за которым шуршал бесконечный московский дождь. *По стеклу стекали струйки, и в их дрожащем свете уличный фонарь казался размытым, нездешним. Где-то внизу хлопнула дверь — комендант, что ли?*

— Мы здесь не просто так собираемся. Не для того, чтобы выучить три закона и сдать экзамен. Мы собираемся, чтобы понять. Понять, что марксизм — это не догма, а оружие. Живое. Острое. И если мы превратим его в догму — мы проиграем. Не на экзамене. Вообще.

Он обернулся.

— Но мы должны быть осторожны. Потому что за нами следят.

— Кто? — спросил Серёжа.

— Не знаю, — сказал Доцент. — Но я чувствую. Что-то сгущается.

Он сел обратно, взял со стола гильзу-коптилку, поправил фитиль. Пламя дрогнуло, закоптило, потом выровнялось.

— Ладно, — сказал он. — Давайте по делу. Кто читал «Анти-Дюринга»?

— Я читал, — пробурчал Лёнька, прожёвывая селедку. *Руки у него были жирные, чешуйчатые, и он вытер их о эту же газету, оставив на передовице тёмный след.* — Только я одного не понял. Вот Энгельс говорит: «Свобода — это осознанная необходимость». А когда мы горели в танке под Прохоровкой, какая там, к черту, необходимость? Мы просто люк задраили и шли на таран. Это что, по-вашему, свобода или нет?

Пружина на койке под Костей предательски скрипнула — он перекатился на другой бок, и скрип повторился, уже громче, почти вызывающе.

— Это по-вашему называется «единство и борьба», — хмыкнул Костя, кивнув на койку. — Вот она, диалектика. Ты её давишь, а она пищит.

Все рассмеялись. Даже Доцент. Смех получился негромкий, осторожный — время было не то, чтобы смеяться громко, — но живой. Смех людей, которые ещё не знают, что ждёт их через несколько месяцев. И от этого смеха, простого, родного, Ваньке вдруг стало легче — словно философия перестала быть книжной и стала частью этой комнаты, этого дождя, этой селёдки на газете, этой скрипучей пружины.

Они просидели до двух часов ночи. Читали, спорили, курили, пили пустой чай. Ванька почти не говорил — только слушал. Он смотрел на лица товарищей, на то, как пламя коптилки отражается в стёклах Серёжиных очков, на то, как Лёнька крошит хлеб на газету, на то, как Косте наконец удалось пристроить самокрутку так, чтобы она не гасла. Ему казалось, что он впитывает каждое слово. Что эти ночные собрания — самое важное, что случилось с ним в жизни.

Он не знал тогда, что Доцент прав. Что за ними действительно следят. Что где-то в недрах ведомства уже лежит папка с надписью «Антисоветский кружок студентов-философов». Что у каждого из них уже есть осведомитель — из своих.

Но это будет потом. А пока — дождь за окном, коптилка

на столе, гильза от снаряда, которую Доцент привёз с фронта. *И запах селёдки, и скрип пружины, и мокрые гимнастёрки, парящие у батареи.* И лица — родные, живые, ещё не тронутые страхом.

В два часа ночи они стали расходиться. Доцент задержал Ваньку в дверях.

— Ты сегодня молчал, — сказал он.

— Слушал.

— Это хорошо. Ты умеешь слушать. Но умеешь ли ты думать?

Ванька не ответил.

— Думай, — сказал Доцент. — Только не так, как в учебнике. А так, как там, — он кивнул на окно, на ночную Москву. — Своей головой.

Он хлопнул Ваньку по плечу и вышел в коридор. Шаги его затихли.

Ванька остался один. Он подошёл к столу, на котором ещё дымилась коптилка, взял в руки гильзу. Тёплая. От неё пахло керосином и чем-то ещё — может быть, войной. Может быть, памятью.

На столе осталась газета — жирная, в селёдочных разводах, с крошками хлеба. Ванька машинально сложил её — не выбрасывать же, пригодится. И вдруг увидел на сгибе заголовок: «Под знаменем марксизма-ленинизма — вперёд, к победе коммунизма». Передовица лежала под жирным пятном, и слово «победе» было почти не разобрать. Он усмех-

нулся — невесело, сам не зная почему.

Он вдруг подумал о том, что сказал Доцент. «Марксизм — не догма, а оружие».

А если оружие дают не в те руки? Если оно стреляет в того, кто его держит?

Он потушил коптилку. В комнате стало темно. *И только запах селёдки ещё держался в воздухе — простой, земной, не философский запах жизни, которую всем им так недолго осталось делить.*

Глава 7. Доцент

Евгений Соломонович Гуревич по кличке Доцент родился в Киеве, в семье часовщика. Часовщик был глуховат и потому почти не разговаривал — он слушал тиканье чужих механизмов, и этого ему было довольно. Женя, напротив, говорил с трёх лет, а с пяти — спорил. Спорил с отцом, с соседями, с раввином, который приходил проверять, едят ли Гуревичи кошерное. «Бог один, — говорил восьмилетний Женя, — а правил у вас на триста страниц. Зачем Богу правила?» Раввин качал головой и говорил, что из мальчика вырастет или большой мудрец, или большой неприятность.

Выросло и то и другое.

В школе он запоем читал всё, что попадалось под руку: от «Происхождения видов» Дарвина до брошюры «Манифест Коммунистической партии», которую принёс однажды сосед-студент, озираясь на дверь. «Манифест» Женя прочёл за одну ночь, а утром сказал отцу: «Ты знаешь, папа, а ведь классовая борьба объясняет всё». Отец, не отрываясь от разложенного на столе механизма, ответил: «А часы она объясняет?» Женя задумался — и через неделю пришёл к выводу, что и часы тоже.

В тридцать седьмом отца арестовали — не за часы, конечно. За то, что держал лавку и не вступил в артель. Мать умерла через год, тихо, без жалоб, как жила. Женя остался

один. Ему было пятнадцать.

Он не озлобился — или, вернее, озлобился так, как озлобятся будущие философы: не на людей, а на неправильное устройство мира. Если мир устроен так, что хороший часовщик объявляется врагом только потому, что не хочет вступать в артель, — значит, этот мир надо переделать. А чтобы переделать, надо понять, как он работает. И единственный, кто это объяснил по-настоящему, — Маркс.

Он поступил на истфак Киевского университета. Проучился два курса — и началась война.

На фронт он ушёл добровольцем. Его взяли в разведку — он знал немецкий, умел запоминать расположение предметов с одного взгляда (спасибо отцовским часам: привычка подмечать детали) и не боялся. Вернее, боялся, но умел отделять страх от действия. Страх — это одно, действие — другое. Первое не отменяет второго.

В сорок третьем он взял «языка» — немецкого майора, который шёл по тропе с охранением из двух солдат. Женя снял обоих солдат ножом, майора оглушил и приволок в распоряжение. Майор оказался из штаба и дал показания, которые помогли спланировать наступление. Жене дали орден Красной Звезды.

Он носил его на гимнастёрке не снимая — не из тщеславия, а потому что орден был железным доказательством: он не трус. Это было важно. Человек, который много думает, всегда рискует показаться трусом тем, кто не думает вовсе.

После госпиталя — тяжёлое ранение в ногу, осколок мины — его комиссовали. В сорок пятом он приехал в Москву, поступил на философский факультет МГУ и поселился в той самой общаге на Моховой, где через несколько лет соберёт кружок.

Почему философия? Он объяснял это коротко: «Войну мы выиграли. Теперь надо выиграть мир. А чтобы выиграть мир, надо понять, куда он идёт». Он видел фронт. Видел, как гибнут люди — не за Сталина, нет, в окопах редко вспоминали Сталина. Гибнут за тех, кто рядом. За Ваньку, за Петьку, за комбата, который поднял в атаку. И он думал: если после всего этого мы построим тот же мир, что был до войны — с доносами, с артелями, с арестами по ночам, — значит, всё было зря.

Марксизм был для него не учением, а надеждой. Надеждой на то, что мир можно понять и — следовательно — изменить. Что история идёт не по чьей-то злой воле, а по законам, которые можно открыть. Что человек — не пешка. Что свобода возможна.

В кружке он был старшим. Не по годам — по опыту. Он прошёл то, чего остальные, кроме Лёньки Стрельцова, ещё не видели. И когда он говорил о диалектике, он имел в виду не формулы из учебника. Он имел в виду тот конкретный, физически ощутимый переход количества в качество, когда накопленная ненависть к врагу вдруг превращается в атаку. Когда страх переходит в ярость. Когда разрозненные люди

становятся взводом, а взвод — единым телом.

— Диалектика — это оружие, — повторял он. — Но оружие не бывает «правильным» или «неправильным». Оно бывает острым или тупым. Наше дело — не дать ему затупиться.

Зимой пятьдесят третьего он почувствовал: сгущается.

Это началось с мелочей. Кто-то из деканата вызвал Лёньку и долго расспрашивал: о чём говорят на собраниях? какие книги читают? упоминают ли имена? Лёнька отшутился, но осадок остался. Потом исчез Пашка Логинов — тот самый, что не доехал до семестра. Оказалось, его отчислили за «сокрытие социального происхождения»: отец был кулаком. Потом комендант вдруг перестал уходить в ночную смену по вторникам и торчал внизу, пересчитывая входящих.

Доцент понимал, что кольцо сужается. Но отменить собрания не мог — не потому, что был безрассуден, а потому, что кружок был для него не просто кружком. Это было его воинство. Его взвод. А командир не бросает взвод, когда противник начинает окружение.

В последний вторник — это был февраль пятьдесят третьего, за месяц до смерти Сталина, — они собрались в том же составе. Говорили о Гегеле. О «Феноменологии духа». Доцент читал вслух отрывок о господине и рабе, и вдруг запнулся.

— Что? — спросил Серёжа.

— Ничего, — сказал Доцент. — Просто подумал.

Он подумал о том, что раб, по Гегелю, в конце концов становится господином — через труд, через преобразование мира. А господин, который только потребляет, становится рабом раба. И он вдруг понял: это не про древность. Это про них. Про страну, которая победила фашизм, а теперь задыхается в тисках собственного страха. Про «господина», который боится собственных рабов и потому убивает их. Про рабов, которые не осознают своего рабства и потому не могут стать свободными.

— Доцент, — позвал Ванька, — ты чего замолчал?

— Я устал, — сказал Доцент.

Это была единственная ложь, которую он позволил себе в тот вечер. На самом деле он не устал. Он увидел. Увидел, как за окном, в темноте, мелькнула тень. Не та, что от фонаря. Другая. Человеческая.

Они пришли за ним через три дня.

Ночью. Ванька проснулся от стука в дверь. Двое в шинелях НКВД, один в штатском. Тот самый, из деканата. Доцент оделся молча. Он не спрашивал, за что. Он знал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.